

*Доктору Самюэлю Крюшо,  
моему другу, посвящается эта книга,  
в которой все персонажи вымышлены  
и всякое сходство лишь случайно*

## ГЛАВА 1

Был ли я в то утро счастливее или несчастливее, чем в другие дни? Не знаю, да и само слово «счастье» уже почти не имеет смысла для семидесятичетырехлетнего человека.

Во всяком случае, эта дата мне запомнилась: 15 сентября, вторник.

В двадцать пять минут седьмого мадам Даван, которую я называю своей домоправительницей, бесшумно и плавно вошла ко мне в спальню и поставила чашку кофе на ночной столик. Потом она подошла к окну и подняла шторы. Я сразу же увидел, что солнца нет, воздух насыщен влагой и, может быть, идет дождь.

Мы поздоровались без лишних слов. Мы вообще мало разговариваем друг с другом.

Я принялся за кофе и включил радио, чтобы послушать утренние известия, а она тем временем убрала одежду, оставленную мною с вечера.

Это уже стало ритуалом. Он создавался постепенно, и я сам не знаю, почему мы так свято его соблюдаем.

Мадам Даван напускает воду в ванну, а я пью свой кофе, прежде чем встать и облачиться в халат. Подхожу к окну. Я делаю это каждое утро. Смотрю на пустынную площадь Вандом, на длинные роскошные автомобили перед отелем «Риц», на полицейского, который дежурит на углу улицы Мира.

Пронесется два или три такси, спешит одинокий прохожий, поглядывая на часы. Черная мостовая блес-

тит, как лакированная. Что это, дождь идет или туман оседает на мостовой? По легкому движению воздуха видно, что это мельчайший дождь, который падает медленно, едва заметно, от него-то и почернел асфальт.

За моей спиной мадам Даван ставит мне вторую чашку черного кофе.

— Вам приготовить синий костюм?

Я колеблюсь, как будто это имеет какое-нибудь значение, и говорю:

— Нет, серый... Потемнее...

Наверное, чтобы быть одетым под стать погоде. Дождь не перестанет весь день. Это не ливень, который скоро проходит. Площадь очень красива в этом приглушенном свете, особенно в час, когда еще мало кто встал. Я вижу только два освещенных окна: там работают уборщицы.

Я знаю, что в кухне Роза Барбетон, горничная, подает завтрак своему мужу, который еще не надел белой куртки и белой поварской шапочки. Вот уже пятнадцать лет они работают у меня. Они спят в мансарде, как раз у меня над головой.

— Хотите что-нибудь заказать к завтраку или обеду?

— Нет.

— Вы никого не приглашали?

— Нет...

Я так редко кого-нибудь приглашаю! Реже просто невозможно. Понемногу я привык есть один и теперь устаю говорить и слушать за столом.

Кроме кухни, вся квартира пуста: мой кабинет, бывшая комната моей жены, ее будуар и, разумеется, детские, так же как и большая гостиная и столовая.

Мадам Даван спит в комнате, которая долго принадлежала Жан-Люку. Сначала она хотела тоже устроиться в мансарде, но по ночам я чувствовал себя слиш-

ком одиноко в большой квартире, где стояла мертвая тишина и где, кроме меня, не было ни души.

В то утро все шло так же, как и в любое другое утро. По радио не сообщили ничего интересного. Выкурив сигарету, я потушил ее в пепельнице и направился в ванную. Первой моей заботой было побриться.

Вот еще одна привычка, которую ничем нельзя объяснить. Большинство мужчин бреются после ванны, потому что тогда борода становится мягче. Не знаю почему, я делаю наоборот. За последние несколько лет, вероятно, с тех пор, как я живу один, я привык делать одно и то же в одни и те же часы.

Я слышу, как мадам Даван ходит взад и вперед по спальне. Она знает, что я терпеть не могу вида небранной постели, резкой белизны смятых простынь. Она не уходит, пока я не оденусь, подает мне то, что я ношу при себе, а я раскладываю это по карманам.

В общем, она исполняет обязанности лакея. Я всегда не терпел, чтобы при моем туалете присутствовал мужчина.

В семь часов я слышу шаги в кабинете, смежном с моей спальней. Это Эмиль, мой шофер, принес утренние газеты и положил их на столик. Он живет в пригороде, кажется возле Альфорвиля, его жена вот уже около двух лет лежит в больнице. Каждое утро, прежде чем выйти из дому, он убирает свою квартирку. Через несколько минут он тоже сядет завтракать в кухне.

Совсем маленький мирок, всего пять человек в квартире, предназначенной для большой семьи и для приемов. Сейчас придут две уборщицы, которые делают черную работу: каждый день они пылесосят все комнаты, даже те, в которых теперь никто не бывает.

Я пока еще не надеваю пиджак, а только легкий халат и сажусь в свое кресло в кабинете. Здесь я провожу немало времени, а если мне нездоровится, остаюсь на целый день.

Пол застлан бежевым ковром, стены обтянуты кожей, такой же как и кресла, только немного светлее. На стене, напротив моего любимого места, я велел повесить большую картину Ренуара: это купальщица, молодая и цветущая; капли воды скользят по ее розовой коже. Она рыжеволосая, ее нижняя губка капризно выпячена вперед.

Я смотрю на нее каждое утро. Здравуюсь с ней.

Из-за этого мелкого дождя, из-за беспросветно серого неба мне сегодня приходится сидеть при зажженных лампах, и со своего места я вижу, как освещаются окна напротив.

Есть ли у других, как и у меня, привычки, без которых они уже не могут обойтись? Прежде я не был таким. Мне кажется, что тогда дни не были похожи один на другой, я никогда не знал ничего заранее, не знал, где окажусь вечером и в котором часу лягу спать. Теперь я это знаю. В одиннадцать часов. Почти минута в минуту.

С Жанной, моей второй женой, мы редко ложились раньше трех часов ночи и еще спали, когда дети уходили в школу.

А Нора, которая была потом, вообще охотно проводила бы все ночи вне дома.

Я машинально просматриваю газеты, главным образом финансовую информацию, а мадам Даван, все так же бесшумно, словно скользя, приносит мне третью чашку кофе.

Я всегда был любителем кофе. Кандиль, мой домашний врач, уже с лишком двадцать лет напрасно советует мне воздерживаться от него. Поздно. В моем возрасте уже не меняют привычек, мне так же трудно отказаться от трех чашек кофе, как и от остального.

Я не прочь посмеяться над собой. Жизнь моя вошла в определенную колею и катится по ней, как паровоз по рельсам. Любопытно, что постоянное повто-

рение того, что я делаю каждый день, приносит мне известное удовлетворение.

Такое же, какое я испытываю, видя на своих местах картины и вещи, которые я приобрел постепенно, в течение многих лет. Для меня они не связаны с какими-либо переживаниями. Я никогда не думаю о том, что они могли бы мне напомнить.

Я просто люблю их, за их форму, материал, из которого они сделаны, за их красоту; в гостиной, например, стоит женская бронзовая головка, изваянная Роденом, и я поглаживаю ее всякий раз, как прохожу мимо.

Золоченые часы семнадцатого века бьют каждые полчаса, и мадам Даван следит за тем, чтобы они никогда не останавливались. Терпеть не могу, когда часы стоят. Мне кажется, что они умерли. Поэтому все часы в доме показывают точное время, кроме электрических часов на кухне, которые спешат на пять минут.

Площадь Вандом понемногу оживляется. Слышно, как поднимают металлические шторы витрин, и у ювелира в первом этаже моего дома тоже.

Часы бьют девять, и это значит, что мне пора встать с кресла и сменить халат на пиджак. Чтобы пройти в переднюю, я должен пересечь большую гостиную, где работает одна из уборщиц. Я знаю их только с виду. Они довольно часто меняются. Сейчас, по-моему, это француженка и испанка.

Я не вызываю лифт, потому что мне надо спуститься всего на один этаж, где на двери красного дерева прибита медная дощечка с выгравированной на ней надписью:

*Ф. Перре-Латур, банкир*

Ф. значит Франсуа. Это я. Хотя бóльшая часть дела все еще принадлежит мне, фактически я уже не хозяин. Я отказался от этой роли четыре года тому назад,

когда мне исполнилось семьдесят. В тот день я был очень расстроен, потому что вдруг сразу почувствовал себя стариком.

Прежде я о старости почти не думал. Правда, я стал быстрее уставать, чаще приглашал Кандиля по поводу разных недомоганий, но старым себя не чувствовал.

А тут вдруг решил, что я старик, и начал жить, ходить, говорить и действовать, как подобает старику.

С тех пор у меня и появились разные причуды. С тех пор о моем доме и обо мне самом начала заботиться мадам Даван.

«Сколько лет я еще проживу, если ничего не случится?»

Я задал себе этот вопрос совершенно спокойно. Мне кажется, я не боюсь умереть. В день моего семидесятилетия меня пугала лишь мысль, что я могу стать немощным.

Я вспомнил, как несколько лет назад смотрел на тех, кого считал стариками. Я всегда считал стариком своего отца, а между тем он умер в шестьдесят три года.

Меня просто ошеломляет мысль, что моему брату Леону семьдесят два года и что моей старшей сестре Жозефине, которая никогда не была замужем и живет до сих пор одна в Маконе, уже семьдесят девять лет!

Жанна, моя младшая сестра, жила со своим мужем в Метце и умерла от туберкулеза в 1928 году, когда у нее уже было двое или трое детей. Мне следовало бы знать, сколько их было, потому что некоторое время мы переписывались. Ее муж, по фамилии Лувье, служил в страховом обществе. После смерти сестры я потерял связь с ним и их детьми.

Я спускаюсь на второй этаж только в девять часов пять минут для того, чтобы дать время месье Пажо от-

крыть двери и ставни. Он на десять лет моложе меня и уже тридцать лет работает в банке.

Директор, Гастон Габильяр, моложе: ему пятьдесят два года. Хотя я остался председателем административного совета, банком управляет он, делая вид, что консультируется со мной, прежде чем принять какое-нибудь важное решение.

Он занимает кабинет, в котором когда-то сидел я, самый большой, самый светлый, с двумя окнами на площадь Вандом, с мебелью в стиле ампир. Вся мебель в банке в стиле ампир, и многие вещи подлинные. У нас только одно кассовое окошко, в первом зале, где стоит швейцар с серебряной цепью.

Клиенты приходят к нам не для того, чтобы получить по чеку или положить на счет небольшую сумму. Мы управляем их состоянием, советуем, как помещать деньги, иногда принимаем участие в их делах.

Я, например, был одним из первых, кто поверил в электронику и помог одному промышленнику из Гренобля, вложившему капитал в это дело. Теперь его предприятие на шестьдесят процентов принадлежит мне.

Я заглядываю в телетайпный зал. Наши аппараты поддерживают прямую связь с Лондоном, Цюрихом, Франкфуртом и Нью-Йорком. Потом вхожу в кабинет, который оставил для себя. Он меньше моего прежнего кабинета, но тоже с окнами на площадь Вандом.

Моя личная корреспонденция ждет меня на бюваре, подаренном мне последней женой.

Вторник, 15 сентября. Дождь все еще идет, мелкий, почти невидимый, но крыши и капоты машин совсем мокрые.

Это письмо лежит на виду, в верхней пачке. Почерк, которым написан адрес на авиаконверте, меня поражает. Он поразил бы меня не меньше, даже если бы на конверте не было напечатано: «Больница Бельвию».



Она в Нью-Йорке. На набережной Франклина Д. Рузвельта; обращена фасадом к Ист-Ривер. Я хорошо знаю Нью-Йорк. И часто проходил мимо внушительных зданий больницы Бельвю.

Почерк неровный, буквы острые, то прямые, то с наклоном вправо или влево. Рука, писавшая адрес, дрожала. Это почерк больного или больной.

Мы в банке часто получаем письма от помешанных, и их всегда можно узнать по такому вот почерку.

На обратной стороне конверта фамилии нет. Я распечатываю письмо, и меня не оставляет чувство, что сейчас я узнаю неприятную новость.

Переворачиваю листок, чтобы увидеть подпись. Я не ошибся. Это письмо от Пэт. Теперь она подписывается Пэт Джестер.

Я знал, что она вышла замуж во второй раз. Даже заходил к ней в 1938 году, когда она жила в довольно бедном домике в Бронксе. Хотел узнать у нее адрес моего сына, который никогда не писал мне.

Ее соседка, видя, что я звоню напрасно, сказала, что моя бывшая жена работает в отеле, в Манхэттене (в каком именно, она не знала), так же как и ее муж, некий Джестер. Нет, соседка никогда не видела моего сына, но слышала, что он живет где-то в Нью-Джерси.

Письмо, конечно, написано по-английски. Даже когда мы жили в Париже, Пэт не могла запомнить и пяти французских слов.

Мы встретились с ней в 1925 году, в Нью-Йорке, куда я приехал стажироваться, на Уолл-стрит. Я жил на Третьей улице, около Вашингтон-сквер, на третьем этаже пятиэтажного дома.

Там, правда, был лифт, очень узкий, обитый красной материей. В кабине помещались только двое, и однажды я оказался в обществе молодой брюнетки, которая вышла из лифта вместе со мной.

Мы были соседями. И хотя я жил здесь уже несколько недель, мы до сих пор ни разу не встретились. Мне было тридцать лет. На второй или на третий раз мы разговорились, и она сказала, что она натурщица. Мы поужинали вместе. Потом вечерами мне все чаще случалось переходить из своей комнаты к ней, и однажды ночью я вдруг решил, что женюсь.

Мы переменили квартиру. Пэт было двадцать. Довольно веселая по природе, она иногда впадала в меланхолию. Она родилась на Среднем Западе, и я думаю, родители ее были очень бедны. О них она никогда со мной не говорила.

Я играл на Бирже. И еще с тех пор, как семнадцать лет приехал в Париж и поступил на юридический факультет, я пристрастился к покеру и просиживал за картами целые ночи.

Я почти всегда выигрывал. У меня есть какое-то шестое чувство, которое помогало мне в Латинском квартале, а потом и на Фондовой бирже.

В 1926 году, считая, что моя стажировка закончена, я вернулся в Париж вместе с Пэт, и мы поселились в отеле на бульваре Монмартр.

Там и родился мой сын, которого мы назвали Доналдом. Пэт больше не работала. Я вывозил ее как можно чаще, особенно в кабаре бульвара Монпарнас, которые были тогда так же модны, как позднее погребки квартала Сен-Жермен-де-Пре.

Почему Пэт невзлюбила Париж? Не знаю. Она всячески подчеркивала, что она американка, и беспощадно критиковала все французское.

У меня был приятель, с которым мы вместе учились на юридическом факультете. Его отец держал частный банк на улице Лаффит. Приятеля звали Макс Вейль, это он посоветовал мне купить маленький банк на площади Вандом. Его отец к тому же помог деньгами. А мой друг Макс погиб в Бухенвальде в 1943 году.

Я помню лишь даты, связанные с какими-либо событиями. Поэтому некоторые периоды почти не сохранились у меня в памяти. Например, моя жизнь с Пэт. Я с трудом представляю себе ее лицо. Мы с ней не ссорились, но в Париже у меня уже не было того радостного подъема, который мы оба переживали в Нью-Йорке.

Квартира в третьем этаже, над банком, была тогда занята, и мы продолжали жить в отеле.

У меня была любовница, Жанна Лоран, журналистка, дочь редактора одной из вечерних газет. Миниатюрная, тоненькая, очень живая, с острым умом.

По-моему, Пэт не знала об этом, и моя связь никак не могла повлиять на ее решение. Однажды она объявила мне, что скучает по Нью-Йорку и съездит туда на несколько недель. Она увезла с собой нашего сына, еще слишком маленького, чтобы я мог взять на себя заботы о нем.

Для меня он ничем не отличался от остальных младенцев, и нежных отцовских чувств я к нему не испытывал.

Я не удивился, когда три или четыре месяца спустя получил письмо от адвоката из Рено с сообщением, что брак между мною и Пэт расторгнут, что виновником развода признан я и поэтому обязан платить тысячу долларов в месяц на содержание и воспитание ребенка.

Я обсудил это с Полем, моим приятелем и адвокатом Полем Терраном, который живет на набережной Вольтера и до сих пор время от времени навещает меня.

— Чтобы считаться действительным во Франции, развод должен быть разрешен по причинам, признаваемым французскими законами. Между тем твоя жена сослалась на то, что ты не живешь вместе со своей семьей. А где полагается жить семье?

— Там, где живет муж...

— Вот именно... Значит, ты, если хочешь, можешь потребовать, чтобы развод был аннулирован французским судом...

Зачем? В сущности, это меня устраивало. Мне уже не хотелось жить с Пэт и еще меньше окончательно переселяться в Соединенные Штаты.

Я еще больше сблизился с Жанной Лоран, и мне не нравилось возвращаться домой и ложиться спать одному, потому что она все еще жила у своих родителей.

Я платил Пэт тысячу долларов в месяц до 1940 года, когда связь с Америкой прекратилась. Пэт снова вышла замуж, за некоего Джестера, которого я никогда не видел и даже не знаю, кто он по профессии. Потом я потерял их адрес и, так как не знал и адреса Доналда, перестал высылать деньги.

Письмо лежит передо мной. Оно написано в палате больницы Бельвю женщиной, которой теперь, должно быть, шестьдесят два года и которая дрожащей рукой подписывается «Пэт Джестер».

Дом на Третьей улице, наверное, разрушен, а на его месте выстроено более внушительное и более современное здание, какие стоят теперь вокруг площади Вашингтона.

*Dear<sup>1</sup> Франсуа...*

Мне странно, что она называет меня «дорогой Франсуа». Не знаю почему, мои руки начинают дрожать, будто это письмо меня немного пугает.

Прошло четыре года с тех пор, как в тот знаменательный день, когда мне исполнилось семьдесят лет, я решил стать эгоистом.

---

<sup>1</sup> Дорогой (англ.).

Вероятно, я не совсем достиг этого. Я думаю о Пэт, о своем сыне, которого видел только младенцем, и всячески оттягиваю чтение письма.

*Надеюсь, ты сможешь прочесть мое письмо. Я в этом не уверена, потому что почерк у меня становится все хуже. Уже три года, как рука моя начинает дрожать, только я берусь за перо или карандаш. А сейчас вдобавок я лежу в постели.*

*Это не моя постель. Я лежу в палате больницы Бельвю, где нас двадцать — двадцать пожилых женщин, которые не сводят глаз друг с друга, а ночью, каждая в свое время, начинают стонать. И я тоже, не смотря на уколы.*

*Не знаю, какие уколы мне делают. Когда спрашиваешь сестру, она улыбается и качает головой. Я даже не знаю, чем я больна и чем больны мои соседки по палате.*

*Врачи, по-видимому, тоже не знают, чем я больна, и уже два месяца пытаются это выяснить. Мне делают анализы. Меня возят на коляске в помещение, заставленное аппаратами, и там меня облучают.*

*Я такая худая, что вешу не больше десятилетней девочки. Только живот у меня пухнет, как будто он надут воздухом, и порой мне кажется, что он чужой.*

*Худеть я стала года два назад, появились боли, но сперва приступы были реже. В начале лета я была так слаба, что мне пришлось бросить работу в отеле «Виктория» и весь день не выходить из своего маленького домика...*

Тот ли это дом в Бронксе, у дверей которого я как-то позвонил, когда приезжал в Нью-Йорк? И что это за отель «Виктория»? Должно быть, меблированные комнаты третьего или четвертого разряда. Пэт не пишет, какую должность она там занимала.

*К счастью, доктор Клейн не бросил меня. Мы живем на одной улице, и иногда мне приходилось вызывать его по телефону несколько ночей подряд, такие сильные у меня были боли.*

*Я тебе говорила, что мой муж Джестер был убит на Филиппинах? Я получаю маленькую пенсию, но ее не хватает, чтобы платить кому-то, кто ухаживал бы за мной дома. Так как я уже не могла выходить и большую часть времени лежала в постели, доктор Клейн устроил меня в больницу...*

Наверное, седые пряди волос падают ей на лицо, но я напрасно пытаюсь представить себе сегодняшнюю Пэт по тем воспоминаниям, которые у меня остались. Я вижу ее такой, какой она была в двадцать лет на снимках в иллюстрированных журналах, иногда на обложке.

*Интересно, у всех в нашей палате одна и та же болезнь? Почти каждый день одну или двух из нас куда-то увозят, может быть на облучение. Мы почти не разговариваем друг с другом. Десять кроватей стоят у одной стены и десять таких же кроватей напротив.*

*Одни из нас читают, другие в дозволенные часы слушают радио. Большую часть времени мы смотрим друг на друга.*

*Пятеро из тех, которые были здесь, когда я поступила, уже заменены другими.*

— *Старушка с третьей кровати умерла? — спросила я ночную сиделку, более словоохотливую, чем дневная.*

— *Не думаю. Наверное, выписалась домой...*

— *А другие тоже?*

— *Какие другие?*

— *Те четверо, которых увезли...*

— *Не знаю.*

*Должно быть, их увозят умирать в другое место, и если мы следим друг за другом, то это потому, что каждой хочется знать, кто следующий навсегда покинет палату...*

*Но я пишу тебе не для того, чтобы жаловаться.*

Еще в те времена, когда я встретил ее на Третьей улице, Пэт была склонна думать только о себе. Впоследствии я понял это, в особенности в Париже, который для нее всегда оставался лишь декорацией.

Узнав, что она беременна, Пэт дулась на меня два месяца, и я до сих пор не понимаю, почему она увезла ребенка в Соединенные Штаты. Чтобы получить больше денег на его содержание?

Возможно. Но тогда почему после войны она не подавала о себе никаких вестей?

*Не помню, писала ли я тебе два или три дня назад, чтобы сообщить о случившемся. Знаю только, что хотела это сделать и уже обдумала письмо. Кажется, я начинаю терять память. И все-таки меня еще нельзя назвать старой женщиной.*

*Здесь есть одна старушка восьмидесяти четырех лет. Она лежит справа от меня и всегда пытается встать, как только сиделка выйдет из палаты. Два раза ее поднимали, она падала на пол возле своей кровати.*

*Теперь о Доналде. Он покончил с собой в сорок два года, и самое страшное, что никто не знает, почему он это сделал.*

*У него была милая жена, Элен Петерсен, с которой он познакомился, когда работал в Филадельфии, и трое детей. Старший мальчик, Боб, работает в гараже. Я думаю, ему теперь лет двадцать. Точно не помню.*

*Есть еще Билл, он учится в средней школе, и, наконец, девчурка Дороти, которая похожа на меня в молодости.*

*Они, вероятно, были счастливы, несмотря на то что Доналд потерял ногу в Корее. С тех пор характер у него немного изменился, но в конце концов он привык...*

Как представить себе этого сына, которого я видел только младенцем? Мне будто бросили в лицо мое прошлое, и я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног.

*У него была заправочная станция с пятью насосами в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Мне надо отыскать его точный адрес, может быть, ты им как-нибудь поможешь...*

*Ну вот... Я достала свою записную книжку... Джефферсон-стрит, 1061, на выезде из Ньюарка, как раз в начале шоссе на Филадельфию.*

*Это произошло на прошлой неделе. Все уже легли спать. Он встал, сказал жене, что никак не может заснуть и потому пойдет привести в порядок счета...*

*Элен снова заснула. А когда она внезапно проснулась, почувствовав, что его нет рядом, было около трех часов утра. Она спустилась вниз, не одеваясь, и увидела, что он повесился у себя в мастерской.*

*Он не оставил никакой записки. Никто ничего не знает. Его похоронили в понедельник, и я даже не могла проводить его на кладбище.*

*По словам счетовода, которого пригласила Элен, дела его шли плохо, и не сегодня завтра Доналду пришлось бы продать свою станцию, но вырученных денег едва хватило бы на уплату долгов.*

*Видишь ли, он был очень добрый и доверчивый. И еще, надо сказать, он терпеть не мог заниматься счетами.*

*Надеюсь, тебе больше везет, как и твоим детям, если они у тебя есть.*



Я на несколько секунд закрываю глаза, будто отказываюсь принять эту новую действительность. Их жизнь продолжалась, а я и не знал о них, об этих людях, так близко связанных со мной. Я трижды стал дедушкой, не подозревая о том, и, если бы Пэт не была прикована к больничной койке, возможно, никогда бы и не узнал.

В общем, она мне пишет, чтобы зацепиться хоть за что-нибудь.

Жизнь у нее была тусклая, трудная. Муж погиб на войне, ей пришлось работать в отеле. И не в такой должности, где нужно писать, потому что у нее нет образования. Наверное, была горничной или кастеляншей.

Мой старший сын потерял ногу в Корее, а теперь покончил с собой, вероятно, потому, что дела его были в отчаянном положении. Почему же он не написал мне?

Интересно, что Пэт ответила ему, когда он спросил, кто его отец и почему у него французская фамилия? Рано или поздно он должен был спросить ее об этом.

Может быть, она сказала ему, что я умер? Вряд ли. Он случайно мог оказаться в Париже, и здесь ему легко было бы навести справки. Он мог также обратиться во французское консульство.

Он никогда не давал мне знать о себе. Для него я не существовал, так же как и для его матери, до тех пор пока она не написала письмо, которое я держу сейчас в руках. Я исчез из их мира.

Я не испытываю угрызений совести. Я подавлен больше, чем мог бы ожидать, но не чувствую себя виноватым. Потому ли, что я решил стать эгоистом? Мы шли разными путями, и это они вычеркнули меня из своей жизни.

*Может быть, — продолжала Пэт, — ты им поможешь? Я понимаю, ты с ними даже не знаком, они для тебя чужие, но эти дети все-таки твои внуки...*

Я и этого не чувствую.

*Я знаю Элен. Она слишком горда, чтобы просить у тебя хоть что-нибудь, но я не представляю, как она рассчитывает выпутаться.*

*Я много раз принималась тебе писать, и каждый раз мне хотелось разорвать письмо.*

*Словно я протягиваю руку, как нищая. Мне стыдно. Ты не обязан мне отвечать, но я прошу у тебя как милости: сделай что-нибудь для Элен и ее детей...*

Я дочитал письмо. Остаются только эти слова над подписью:

*Искренне к тебе расположенная.*

Этого я не ожидал. Она была моей женой. Пылкие и молодые, мы пережили безумные ночи в Нью-Йорке и Париже.

У нас был сын...

И в конце письма, написанного дрожащим почерком, она ставит самые банальные слова, которыми обычно заканчивают деловые послания: *«Искренне к тебе расположенная»!*

Я смотрю на свои часы, они показывают половину десятого. В Нью-Йорке сейчас половина четвертого утра. Мне остается только ждать полудня, чтобы позвонить нашему поверенному Эдди Паркеру.

Мне некого оповещать. Мало кому известно, что у меня был сын в Соединенных Штатах. Только Жанна Лоран знает это: она даже была знакома с Пэт, как-то я угощал их обеих ужином.

Едва был оформлен развод, мы с Жанной поженились. Я стараюсь вспомнить, когда это было. Кажется,

в 1928 году. Тогда я получил в свое распоряжение третий этаж дома и мансарды. Оставалось поставить мебель, хотя я хорошенько не знал, зачем столько комнат.

Нет, я назвал неверную дату. В 1928 году я познакомился с Жанной Лоран и только в 1930-м на ней женился. Мне было тридцать шесть лет, а ей двадцать четыре. Она была очень умная, и широта ее знаний всегда меня удивляла. В то время она вела отдел кино в одной из газет.

Наш первый сын, Жак, появился в следующем году, потом, в 1933-м, родился второй, Жан-Люк.

Жанна продолжала работать и становилась все независимей, вращаясь среди более молодых и более интеллигентных людей, чем те, с которыми водил знакомство я.

Например, когда я купил виллу в трех километрах от Довиля, она не выразила никакого удовольствия.

— В сущности, ты ведь сноб, не так ли?

По-моему, я не сноб и никогда им не был. Благодаря чутью, необъяснимому для меня самого, я заработал много денег. Даже экономический спад в Америке в конце концов принес мне выгоду: я вовремя почувствовал его приближение и принял меры предосторожности.

Мне казалось естественным покупать беговых лошадей и держать конюшни в Мезон-Лаффит. Я имел право сидеть на трибуне владельцев, в визитке и сером цилиндре.

Я не называю это снобизмом. Не считаю снобизмом и то, что крупно играл в частных клубах Довиля — просто игра меня забавляла.

Хотя, разумеется, мне не очень пристало все это. По традиции мне следовало бы продолжать дело отца, крупного маконского виноторговца. Я был старший сын, а фирма, основанная в 1812 году, из поколения в поколение переходила к старшему сыну.

## СОДЕРЖАНИЕ

И ВСЕ-ТАКИ ОРЕШНИК ЗЕЛЕНЕЕТ <i>Перевод А. Тетеревниковой</i> .....	5
ТЮРЬМА <i>Перевод Э. Шрайбер, Н. Брандис</i> .....	155
СМЕРТЬ БЕЛЛЫ <i>Перевод Е. Баевской</i> .....	329